



М · А · Р · И · Н · А

СТЕПНОВА



**Женщины
Лазаря**



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С79

Дизайн переплета *Екатерины Ферез*

Издательство благодарит литературное агентство
«Banke, Goumen & Smirnova»
за содействие в приобретении прав

Степнова, Марина Львовна.

С79 Женщины Лазаря : [роман] / Марина Степнова. – Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2025. – 448 с. – (Эксклюзивная новая классика).

ISBN 978-5-17-090917-9

Марина Степнова – прозаик, автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад», сборника рассказов «Где-то под Гроссето». Книги Марины Степновой переведены на двадцать пять языков. Роман «Женщины Лазаря» завоевал популярность в России и за рубежом, а также ряд главных литературных наград, в том числе премию «Большая книга».

Роман «Женщины Лазаря» – необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ.

Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой ребенок, «беззаконная комета в кругу расчетливых светил», – центр inferнальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша, возникший на пороге ее дома в 1918 году, полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. Уже после войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но... заслужит только нешуточную ненависть. Третья «женщина Лазаря», внучка-сирота Лидочка, унаследует его гениальную натуру, но будет мечтать только об одном – обрести свой, невоображаемый дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц. Марусин дом.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-090917-9

© Степнова М.Л.
© ООО «Издательство АСТ»

Оглавление

Глава первая. БАРБАРИСКА

7

Глава вторая. МАРУСЯ

31

Глава третья. ЛАЗАРЬ

70

Глава четвертая. ГАЛОЧКА

163

Глава пятая. ГАЛИНА ПЕТРОВНА

200

Глава шестая. ЛИДОЧКА

295

Глава первая БАРБАРИСКА

В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились – Лидочка и ее жизнь, – и именно поэтому обе накрепко, до гула, запомнили все гладкие, солоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета.

Черное море (черное, потому что никогда не моет руки, да?), похожий на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из-под плодово-ягодного (папа говорил – плодово-выгодного) мороженого и огромными раскаленными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную, отдышающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение, и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца запрященной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и, без разбору молотя круглыми толстыми пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю.

Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утрен-

ний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания – ничего, нехай дите порадуется! Ишь, поскакала, егоза! Вы понимаете, она у нас в первый раз на море... А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забрались. А мы из Криворожья, получили вот путеочки от завода, правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в Солнечном отдыхаете? Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. А мы в Красном Знамени. Очень приятно.

Готовой вспыхнуть многолетней дружбе – с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну – мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блестящая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее – ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного «дурачка» (позвольте, а что у нас – козыри? Нет, червы были в прошлый раз!), ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, крик – мол, забирай, Лариска, дите и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда только от правления комнату получил – двенадцать метров, хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся! Романтический пунктир судьбы никому не известного Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья, но мамочка только рассеянно улыбалась.

В другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую, невозможную судьбу – только для того,

чтобы убедиться, как ладно и ловко скроена ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев (почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки байронические страсти), как Лидочка, хохоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, мреющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза, мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. Слава богу, вот она. Лидочка в ответ махала рукой и, не снимая красно-синий надувной круг, присаживалась на корточки – лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака.

Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки, но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее – ой и ладненькая у вас доча, тьфу на нее, шоб не сглазить. Мамочка благодарно – двумя руками, как хлеб, – принимала похвалу, но втайне с ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала – знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная. Неповторимая. Самый прекрасный ребенок на свете – с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихой изумленной улыбкой смотрела на дочку, а потом на свой живот – молодой, тугой, совсем не изуродованный ранними родами, и сама не верила, что Лидочка – круглоглазая, как щенок, с шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее – когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовала.

Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик – надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других – горстями швыряют мелкую, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать... Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, госпади-помилуй-и-пронеси?

– Ты бледная что-то, Нинуша, – встревожено говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. – Не перегрелась?

Мамочка виновато улыбалась. Морок отпуская ее, и душа, мелко крестясь, вырливалась на основную дорогу – взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала что там – за последней секундой, после которой только кувыркаящийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку – крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.

Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок,

тотчас бежала к матери – горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день – новый цвет, каждый день – новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничной – понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой – вторник. Желтые со щербатым подсолнухом – среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки – один глазик, другой – все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не, успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска – маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.

– Не удирай, партизанка, – папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.

Это и было счастье – родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом.

– Посиди с тетей Маней и дядей Колей, – велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо – вверху. Как обычно. – Посидишь? А мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась.

– Идите, идите себе спокойно, – сдобно загудела тетя Маня, – я своих двоих на ноги подняла, да внучка

третья на подходе – глаз с вашей красотули не спущу. Купайтесь на здоровье.

– Мы не надолго, – виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. – Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.

Лидочка невнимательно кивнула – тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным – видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! – с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком – нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрее до буйков, Нинуш? Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, – ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины «бычье сердце», ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом – стриженный дегенеративный затылок своего пролетарского мужа, – ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло...

Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия, липкий сок заливал ей подбородок, толстенький, загорелый живот – да не размазывай, доча, я тебя потом накупаю, будешь чистенькая, как яблочко, мамка-то где у тебя работает? Ишь ты – и папка тоже чертежи рисует? А комнат у вас сколько? Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженерам трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты – на фиг Генке техникум, пусть сразу на завод идет! Так и подохнут с семьей в общежитии. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай, дай тебе бог здоровычка, и мамке твоей с папкой тоже...

Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте – ААААА! Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепило крупным песком – прямо по самой лакомой мякоти, уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как, а крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела и вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбулы, поднимались с полотенец и лежаков, кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных.

ААААААА! ПА-МА-ГИ-ТЕ! ПА-МА-ГИ-ТЕ!

Тетя Маня испуганно перекрестилась, господи исусе, Коль, глянь, что случилось, только не реви, доча, это кому-то, видно, головку напекло, пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот – было ужасно интересно.

Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый

парень, один из отряда бугристых спасательных атлантов, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дуряя от скуки.

– Вы в порядке, товарищ? – спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках, и из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском:

– Какое в порядке! Не видишь! Потоп человек!

– Не потоп, а баба его потопла, – поправили басовитого, и папа, наконец вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места.

Спасатель распрямился, растеряно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрывая, белая и юркая, как моторка, докторша – и точно такая же белая и юркая, но уже настоящая моторка крутилась у буйков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными, молодыми голосами.

– Ишь ты, жена утонула, а сам целый, – не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый в голой, потной, гомонящей толпе, и папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся – весь, как недоенный Лидочкой персик, облепленный тяжелым бурым песком.

Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху – жестом такой древней и страшной силы, что он не был даже человеческим. Шаловливая волнишка решила подлизаться к нему, припала к розовым, детским каким-то пяткам, но вдруг перепуга-

лась и бросилась назад, в море – к своим. Папа обвел отдыхающих голыми мокрыми глазами.

– Нет, – сказал он вдруг совершенно спокойно. – Это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?

Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую, липкую от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем – сыпуче и горячо. Что-то отчетливо лопалось у нее в голове, маленькими частыми взрывами – словно срабатывали крошечные предохранители и, не выдержав напряжения, перегорали – один за другим, один за другим. Пока не стерлось все, что нужно было стереть.

(Только тринадцать лет спустя, глядя по Би-би-си неторопливую документалку про семью орангутангов, Лидочка внутренне запнулась, когда самец, едва отбивший детеныша у аллигатора, выскочил на берег, по-человечески, хрипло завыл и вдруг поднял изувеченного мертвого малыша к небу – не то карая, не то укоряя, не то пытаясь понять. Лидочка поморщилась, голову вдруг заволокло соляной мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки – чужие, с чужими диоптриями, прихваченные впопыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего.

А потом самец бережно положил детеныша на землю и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце, как будто попрощались, и гуськом ушли прочь, ссутуленные эволюцией, нелепые, мгновенно и счастливо все забывшие, потому что забыть для них – это и означало жить. Жалко, правда? – спросил Лужбин, часто смаргивая – как все